Мы хотели поговорить об университетском положении, о том, как университет в России соотносится с политикой в девятнадцатом, начале двадцатого века, о тех авторах, которых можно выделить, их позиции. В первую очередь, когда мы говорим об университете, это будут профессора, студенты, это будет министерство и плюс те фигуры, которые возникают по ходу дела. Это вопрос о том, как разные элементы самоопределяют себя, и в какой степени они оказываются вынуждены к этому самоопределению. И то, с чего, на мой взгляд, стоило бы начать, это с функций университетов, которые в России, как таковые, (…) оно возникает достаточно поздно, оно является внешним, фактическим рекордом 1804 года. Причем, здесь нет, в этом решении, ничего самоочевидного, если вспомнить дебаты восемнадцатого века, особенно второй половины восемнадцатого века об университете, то является ли университет местом производства знания, является ли университет тем пространством, той системой, которая эффективна в смысле распространения знания. Вот то, что осуществляется выбор в университетской модели в 1804 году, то, что происходит создание во многом в этот момент на бумаге, бумажное такое проектирование, но, тем не менее, создание образовательного пространства в Российской империи, достаточно согласного и предполагающего включение других элементов, вот, собственно, здесь, на мой взгляд, интересный момент, это каково идеологическое содержание данных решений и само место, которое отводится университету, которое отводится профессуре в этой ситуации, и то место, которое он занимает по факту. Если наметить несколько вводных пунктов, дальше, надеюсь, уважаемый коллега выделит моменты, которые ему представляют наибольший интерес, я думаю, что он (03.05) из сказанного, но если говорить первичным образом, то университет в России оказывается в ситуации именно девятнадцатого века, начала девятнадцатого века, это во многом не дворянское пространство. Если говорить о самом положении, например, раннего университета первых двух десятков лет девятнадцатого века, то там у нас наблюдается совершенно забавная ситуация, когда есть несколько, например, категорий учащихся ярко выраженных. Это, с одной стороны, дворяне, для которых это получение образования – это один из возможных путей, которые поступают в университет в достаточно раннем возрасте, которые, как правило или зачастую поступают из того же самого, например, университетского пансиона, для которых это получение общего образования. С другой стороны, университет функционирует, как социальный лифт для тех, кого в последующем будут называть казначейцами, для которых основной точкой притяжения является медицинской факультет. И вот это среднее университетское, как (04.55) пространство образования любопытно иллюстрируется, например, историей основания хартитского университета, когда изначально (…) дворянство собирает стипендию на кадетский корпус. И когда в результате основывается хартицкий университет, там возникает напряженная ситуация, поскольку там были ожидания на основание кадетского корпуса, который станет подготовкой для службы в армии. Естественно, такая традиционная карьера. В связи с чем в хартицком университете, отчасти отвечая на этот запрос, пытаясь как-то умиротворить ситуацию, основываются, нанимаются преподаватели верховой езды, я сейчас боюсь ошибиться, но, если мне память не изменяет, чуть ли не какие-то элементы строевой подготовки преподаются. То есть, сам университет, как он возникает после реформы 1(06.15), он мыслится, с одной стороны, внесословным пространством до некоторой степени, с другой стороны, это пространство нового образования, формирование новых подданных, в том числе, в первую очередь, для гражданской службы, оно само не имеет отношения к гражданской службе. И университет здесь работает именно как образовательное пространство. До (06.55) университета еще достаточно далеко, да и сам он не вполне приживется в России. А вот в идеологическом плане университет достаточно заметно выйдет в уваровскую эпоху, с момента назначения Уварова министром народного просвещения, с инспекционной поездки, когда речь пойдет о том, что университет и университетские преподаватели должны играть роль в идеологическом оформлении, обслуживании режима. Естественно ,речь пойдет об истории и филологии, двух основных направлениях. Причем, в первую очередь, история, как создание исторической памяти, создание должного образа прошлого. Очень важным эпизодом в этой истории станет основание владимирского университета, университета святого Владимира в Киеве, который, с одной стороны, выступит, как образовательное учреждение на пространстве западного края взамен расформированного перед этим (08.15) университета. С другой стороны, как центр русификации, центр формирования тех самых лояльных поданных, центр русского образования вместо ранее господствовавшего польского. То есть, здесь университет воспринимается, как форпост, как, с одной стороны, то пространство, которое является пространством влияния, куда направляются профессора, например, из Москвы. Самый известный пример это ректорство Максимовича. С другой стороны, как то, что изменит образовательное пространство самого региона, формирование лояльных поданных и формирование среды вокруг университета, которая должна стать вот той средой российской империи, формирование лояльных подданных взамен прежних, взамен того, что ранее, как полагается, существовало в (09.30) университете или в (…) подольском лицее. Соответственно, здесь меняется сама фигура профессора. Она становится новой. Поскольку в предшествующей ситуации, если говорить, например, о десятых-двадцатых годах, университетский профессор это преимущественно преподаватель, требования к нему по факту не очень велики, не очень высоки. Эта ситуация когда профессорское сословие замкнуто во многом на себя, ситуация воспроизводства, то есть, формируется такая профессорская монополия. И в уваровских реформах с тридцать второго года это активная политика министерских назначений, стремление не просто вдохнуть новую жизнь, а стремление превратить университет помимо прочих задач, но в качестве очень важных, превратить университет в пространство не только трансляции, но и выработки идеологии, где большую роль играют такие проекты, как тот же самый владимирский университет, московский университет и (11.15) университет, где должен быть сформулирован образ истории, где должна быть сформулирована некая каноническая версия, и в университетском пространстве это все должно приобрести свою убедительность и глубину. Вот тут один момент достаточно важен, поскольку когда речь идет об идеологизации этого пространства, то я бы подчеркнул, что в ситуации этого времени есть исходная уверенность, что само научное знание, само добросовестное историческое и филологическое знание подтверждает данную идеологическую схему. В этом смысле, например, ситуация тридцатых годов и начала сороковых, то напряжение, которое существует между идеологическим значением и следственным значение, оно присутствует лишь временами. То есть, оно искрит в этих точках. Но принципиально добросовестное научное исследование и выполнение идеологических задач мыслится как компоненты, конфликтующие между собой, находящиеся в едином пространстве. Этот образ, который, на мой взгляд, в достаточной степени разделяется самой университетской корпорацией, он разрушился к концу сороковых, в пятидесятые годы, когда с одной стороны, пространство университета окажется пространством, которое заподозрено. Во-вторых, оно перестанет быть, перестанет мыслиться, как то место, где вырабатывается идеология, а то пространство, которое должно воспитывать надлежащим образом, должно распространять. И более того, именно своей функцией распространителя оно опять же окажется под подозрением. Где-то в тридцатые годы избирается такой баланс между университетской моделью и моделью специальной школы, то очень характерное решение и в особенности проекта преобразований в конце сороковых, в первые годы пятидесятых, когда речь идет о ставке именно на высшие школы, вплоть на систему высших школ, когда очень долго будут муссироваться слухи и доходить до уровня достаточно высокого обсуждения о преобразовании московского университета в специальное образовательное учреждение. То есть, здесь, как враждебный воспринимается университет, как таковой. Не текущее его состояние, не какое-то положение вещей, которое преодолимо, а под вопросом оказывается сама университетская модель, преобразование в сторону именно высших специальных школ. Мы можем сказать, что этот переход из крайности в крайность, то своего рода движением противоположным станет ситуация конца пятидесятых – начала шестидесятых, когда напротив речь пойдет о свободном университете, об открытом пространстве. Самый известный вариант это всевозможные проекты, которые существуют в санкт-петербургском университете, это момент и функционирования московского университета. То же самое любопытное отношение попечителя к организации своеобразного открытого университета в Петербурге, доступ к лекциям, включение университета в городское пространства в конце пятидесятых – начале шестидесятых, вот этот момент мне представляется любопытным, как именно выстроенная университетская система вроде бы в тридцатых – в начале сороковых годах, как она входит в противоречие с ожиданиями вообще от университета к концу сороковых. И в результате конфликт оказывается не конфликтом с теми или иными частными вопросами, а конфликтом с самим существованием университета с (16.30).

**Ирина Чечель:** У меня вопрос сразу к вам обоим, если позволите. Скажите, не кажется ли, вообще, достаточно сложной, хитроумной, такой (…) политический, образовать, чтобы сделать лояльным, или образовать, чтобы пригласить к идеологическому сотворчеству? С одной стороны. С другой стороны, как вы интерпретируете все-таки упор на не технические, а филологические дисциплины в самом начале? С чем это связано с точки зрения модели, видения модели университетского развития? И если можно, третья заметка маленькая, несколько слов о том, как развивается эта модель, что позволяет эволюционировать к сороковым – пятидесятым? Дело Полежаева, Герцен, лекции Грановского и сложности в самом конце с ними? Что, как вам кажется, является спусковым крючком видоизменения отношения власти к системе университетского творчества?

Тогда я попробую сказать. Мне кажется, что трудно говорить не столько в формате лекции, сколько он начинает мыслить сразу в формате сносок отсюда к авторитетам. Как только вы (17.55) ,то я вспомнил где-то записанную или озвученную замечательную мысль Андреем Леонидовичем Зориным, который сказал, что три, а, может быть, и больше раз русское государство, если брать до советского периода, наступало на граждан в том смысле, что оно пыталось опереться на некоторую образованную элиту. Вначале это было дворянство, которое отличает сенатская площадь, потом это была русская интеллигенция, которую отличает революция пятого года с последующим финалом (…), и, наконец, она создает (…) инженерно-техническую интеллигенцию, которая выходит в девяностом году на улицу и (….) Конституции. Это говорилось как раз во времена Сколково, и Сколкоков было таким следующим. Еще никто не говорило о (…), но еще не было (…), но Зорин это уже озвучил. Но даже если не делать ссылку в русской истории на такие большие обобщения, мне кажется, что здесь в том, что говорил Андрей, было еще несколько заложено внутренних кирпичиков, которые, мне кажется, стоило бы озвучить. Это, во-первых, экспертное назначение университетов, которое особенно выходит на поверхность как раз с этой реформы 1804 года, и как раз имперским видением не случайно выбирается Казань, Харьков, как такие точки империи. И вот этот географический принцип, потом три спора после начала двадцатого века, где открывать университет, дойдет вплоть до того, что университетское чиновники, готовя объяснительные записки, будут буквально по карте строить вот такие звезды и вычерчивать, где, в каких сторонах нужно делать университет, в Саратове или в Самаре, это еще лучше, он будет между такими (…) и так далее. То есть, в дело вмешивается география, которая имеет, особенно в первой половине девятнадцатого века экспертную функцию. То есть, это функция и медицинская, и географическая, и полицейская. То есть, что касается ведомства внутренних дел, то есть, некоторого здоровья государства, будущего нации…

**Андрей:** То, что базовое, это представление об университете, как о центре именно учебного округа, которое любопытно сказывается до самого конца. Но когда речь будет идти о том, что именно университет фактически руководит цензурой, когда университет управляет всей системой образования, когда он одновременно является тем органом, который и управляет, и контролирует, и поставляет кадры всей этой системе, и в свою очередь, предполагается иерархически выстроенная система. Причем, что любопытно, хотя университет… вот эта идеальная модель учебного округа, она (21.10) в таком образе, но мышление о модели учебного округа, как (…) целого, оно будет воспроизводиться фактически до конца империи. Вот это идеальное видение, заложенное изначально, при всех последующих реформах, при всех последующих изменениях будет всплывать раз за разом.

Да, и вы правы, говоря про высшие специализированные школы. Здесь имеется в виду, конечно, пример французский (…), то есть, таких фактически (…) милитаризированных (…) образованиях, которые будут давать такой идеальный тренинг. И (…), и его предшественников, последователей отчасти этот образ сработал, даже стал некоторой моделью (…), в восемнадцатом веке. Эти разные модели безусловно смешивались. Тут фигура Уварова безусловно будет в центре обсуждения всей половины девятнадцатого века, поскольку Уваров соединял в себе не только фигуру чиновника, государственного лица, но и человека, имеющего позицию идеологическую еще до назначения на эту должность. Во-вторых, его научная переписка с Гете, его идея, азиатское падение, то есть, в данном смысле он воплощал, в том числе, сразу несколько функций, которые не сводились к чисто государственному надзору, регулированию, (…) или (…) из восемнадцатого века. И что очень важно, что касается Уварова, уже в тридцатые, сороковые годы самого Уварова, в его биографии был важный момент такого внутреннего спора, который тоже срабатывать потом в годы его отставки и даже за те годы (23.15) образования тоже (…) в двадцатый век, я имею в виду, казанскую историю, первую отставку Уварова, начало двадцатых годов после истории с петербургским университетом, когда он один раз уже почти руководил этой сферой, но затем вынужден был уйти, то есть, грубо говоря, уже в этой истории с (…) времен александровского царствования был уже сформирован некоторый охранительный кран, образ такого (…) посвящения (…) университета, университетского вмешательства в эту сферу, каковым (…) сам Уваров быть не хотел. В этом смысле на всем протяжении своей министерской карьеры после назначения он, мне кажется, явно (…), и дальше вступает в дело уже некоторая традиция университетская, о которой мы должны говорить, о том, насколько все эти закономерности девятнадцатого века будут работать век спустя в университете или в университетах уже Российской империи времен Витте. Память про начало девятнадцатого века. В этом смысле формируются все предшествующие традиции, включая Грановского или, наоборот, антигерои, то есть, формируется некоторое представление, которое возникает не только (24.50) двадцатого века, представление о том, как надо обращаться с университетом, то есть, до некоторой крайности, которая задана в данном случае Магнитским, история двадцатых годов. Дальше это будет уже следующая фигура конца сороковых годов.

**Андрей:** И очень любопытной фигурой, свободной от традиции, окажется (…), как представитель французской модели, как (…), имеющие другие традиции, он окажется любопытном, в том числе, и на министерском поприще, во многом не связанный этой историей, не связанный этими традициями. Хотя можно сказать, что почти сложилась традиция выпускников и профессоров на юридическом факультете назначать министрами народного просвещения (25.50) самого юридического факультета. Но вот конфликт (…) с университетом и его демонстративное поведение будет, именно если продолжить сказанное, любопытной демонстрацией трудной традиции, принадлежности к некоторому сложившемуся представлению. Или, скорее, попыткой действия на слом традиции.

В этом смысле как раз вопрос о том были бы ваши любимые герои славянофилы частью университета или университетской культуры, если на примере Грановского, Соловьева западники университета это тема, как я понимаю, тоже имеющая свой шлейф (26.45), даже если в худшем смысле по устоявшимся, не совсем точным стереотипам, то в том, что касается славянофилов или совсем по-другому лояльному, существующему порядку, существующему (…) университету, тут, мне кажется, история более сложная.

**Андрей:** Скажем так, их связи гораздо сложнее. Потому что, с одной стороны, для старших славянофилов, хотя они окончили московский университет, если говорить об университетском образовании, то это будет тот же самый Кошелев, это будет от же самый (27.25), Хомяков. Если говорить в дальнейшем, это будет (…) и Самарин. Но для них причастность к университету будет сколько-нибудь значима для уже последующего поколения, для Самарина и Аксакова. Не даром они оба оставят воспоминания об университете, связанные со столетним юбилеем, написанные по этому поводу. Но и для них, что характерно, будет присутствовать такая дистанция по отношению к университету. Поскольку, если говорить о западниках, то там возникает смычка между профессурой. Классический вариант это популярные профессора, это последующая университетская карьера. То есть, ситуация, где университетское пространство воспринимается, как частично освоенное. Более того, часть университета это и есть само место существования данного направления. И для последующей мысли будет очень важна либеральная составляющая, это, в том числе, западническая традиция. Вот этой связки самого идейного направления с университетом в славянофильстве не возникнет. В этом плане можно говорить о том, что, да, тот же самый Аксаков будет называть тех или иных профессоров санкт-петербургского университета, очень радоваться, что на кафедрах теперь появились те, кто разделяют наши взгляды и вести к ним, можно вспомнить того же (29.20) или Бестужева-Рюмина, но это будут ситуации именно персон. То есть, связь будет не с университетом. Другое дело, что, если просто взять переписки Аксакова, он в восьмидесятые годы будет надеяться на то, что университет, отчасти станет славянофильским, но всюду речь идет именно об отдельных представителях. Речь идет об отдельных фигурах, а не об университете, который воспринимается, как пространство мысли. Здесь есть отдельные персонажи, отдельные имена, но мысль произносится (…), университетское пространство воспринимается, как возможное пространство. (…). То есть, если говорить о внешнем восприятии, то да, например, если брать славянофильство (…) в шестидесятых, восьмидесятых годов, то университет воспринимается, с одной стороны, как пространство западническое. С другой стороны, есть то, что сейчас можно было бы назвать официозом, охранителями, но славянофильского пространства там не существует. В этом смысле в университетском понятии речь идет об историко-филологическом факультете и юридическом как таковом. Вот в пространстве этих факультетов можно выделить два основных направления. (Болтики?-31.10) – славянофилы, где это скопление есть отдельные персонажи, которые представляют интерес. Но они не определяют среду, они остаются единицами, и более того, что особенно важно, это единицы среди тех, кто на кафедре, но никоим образом не в студенческой среде. Сама среда мыслится либо как аморфная, которая подлежит некоему воздействию, либо мыслится, как либеральная среда. Либо, естественно, со сдвигом уже от либерального к радикализму. Я бы сказал, что это достаточно расхожее представление, только здесь что интересно, это не самая расхожая оптика, это не самое расхожее место наблюдения. А если брать итоговое описание, то оно достаточно часто встречается в той же самой мемуарной литературе, например, где эпистолярии семидесятых – восьмидесятых годов.

… социальная подкладка с тридцатых до шестидесятых годов. Университет оказывался такой переходной зоной переплавления, постепенного сближения двух разных культур, дворянской элиты, с одной стороны, с другой стороны, разночинской и, главным образом, (33.00), то есть, семинарской и то, что было по отношению к Чернышевскому и Добролюбову со стороны другой части редакции «Современника», это конфликт отчасти поколенческий, отчасти мировоззренческий сороковых годов или шестидесятых годов, это, с одной стороны, противостояние культур, но одновременно постепенное сближение. Университет после сорок восьмого года и особенно после смерти Николая оказался местом формирования какой-то новой культуры, берущей начало еще с восемнадцатого века, то есть, (33.40), можно сказать, простонародной. И в этом смысле русский университет не повторил путь русской профессуры, не повторил путь немецкого университета от 1848 к (…). То есть, какими бы ни было самобытными, талантливыми фигурами Ламанский или Бестужев-Рюмин, русскими (…) не стали. То есть, они не сформировали ни среду, ни (…), ни национальный образ мыслей, который стал господствующем в Германии, не только (…), был целый комплекс причин, но что мы получили уже буквально в царствование Александра Третьего, университет, как среду, социально лояльную, но весьма критически настроенную к (институту?-34.40) порядка. И вот это противоречие, я считаю, в общем-то, противоречие вредное. То есть, считание общее, рамочное, очень условной лояльности с некоторой установкой на коренное (планирование?-35) существующего порядка вещей, оно осталось (…) университета вплоть до десятых годов семнадцатого века.

**Андрей:** Я бы зацепился за один момент, речь идет об общей среде. Потому вот эта общая среда начинает быстро формироваться в тридцатые годы как раз девятнадцатого века. Потому что если взять описание тех же самых двадцатых годов, то отчетливо видно, как дворяне, приходящие в университет, отделены от этой самой мещанской и в первую очередь именно (35.40) среды. Здесь нет единого пространства, это разные сферы, которые достаточно слабо контактируют друг с другом. Хотя бы это зачастую разный возраст самих участников. Если говорить о Поповиче (…), перешагнувший через (…) рубеж, иногда и значительно более зрелые, если говорить о дворянской молодежи, то это могут быть и четырнадцатилетние юноши, чуть позже с течением времени возраст будет подниматься, но тем не менее. То есть, помимо того, что они из разных сред, они принадлежат и к разным возрастным группам, что обеспечивает этот барьер. А вот уже к середине тридцатых годов можно говорить о том, что складывается как раз университетское пространство достаточно единое, студенческое пространство, возникает единый образ студенчества, иная модель. Причем, здесь любопытно, что происходит своего рода формирование достаточно единой модели студенчества на стыке между разнородного происхождения историко-филологических и тех же самых медицинских факультетов, медицинских равночинский, каким оно и будет все это время, где учатся для последующей службы, для распределения, назначения на должности. И вот этот образ окажется настолько сильным, что в воспоминаниях и зачастую даже в переписке он выступает, как своего рода само собой разумеющийся. В то время, как по документам или по отдельным памятникам видно, что существуют другие университетские среды, что существуют достаточно выраженные другие способы поведения, но они не фиксируются взглядом, как таковым. То есть, возникает своего рода нормативная модель студенчества, то, как надлежит быть студентом. А прочее воспринимается, как фактически существующее, но которое не описывается на языке студенческого, не описывается, как вариант или альтернативная форма.

… на края господствующего образа жизни. … как раз была в лаборатории, Дерптский, Юрьевский университет, где сталкивалась русская студенческая культура с (38.35). И в этом смысле воспоминания лучше известны русские, наверняка должны быть и немецкие, ну или потом русская эмигрантская община уже в немецких европейских университетах в начале двадцатого века тоже удивляла своим поведением, своими нравами, это было уже действительно уже не схожих мира.

**Андрей:** И это очень заметно, сам перенос этих моделей. Можно смотреть хотя бы по переписке Языкова. Или по более позднему, если брать самые известные тексты, воспоминания Бабарыкина. Как раз через Дерптский университет. И плюс к этому очень важный момент, рассадник этой модели, транслятор… Можно вспомнить учительский институт, Дерптский, который играл подобную роль. То есть, транслятор готового образца. Но я бы все-таки не недооценивал здесь помимо вполне понятных литературных образцов, которые существуют, это и сама практика обучения в германских университетах, достаточно распространенная в это время. Или, предположим, те же самые поездки из среды московского, например, дворянства для завершения обучения в германском университете, слушание тех или иных, например, семестровых курсов. По возвращению, когда образцы и само описание, и образцы действия, причем, я бы сказал, что важны не столько образцы действия, сколько образцы самоописания, готовый язык, готовая модель восприятия этого опыта университета, опыта студенческого, она оказывается наиболее влиятельная.

Кстати, к моменту о возникновения контактов, почти всегда тех молодых людей или постарше, посетителей немецких университетов, которые пытаются общаться с немецкими коллегами, их удивляет как раз в немцах чинопочитание, то, что в русской среде воспринимается, скорее, в семидесятые, восьмидесятые, девяностые годы, как некий необязательный (41.05), когда они оказываются в Германии, вдруг им дают некоторые очки и привилегии в глазах немцев, но сами русские это воспринимают, как какую-то архаичность немцев, которые вместо того, чтобы отменить всякие старые дурацкие законы, цепляются за своей братство, за свои звания тайных советников, чиновнические и государственные структуры. То есть, немцы оказываются для русских слишком лояльными и слишком иерархичны. В том числе, в академической среде, которая в русском случае воспринимается как некоторое парниковое пространство, где вот эта общая сословность, господствующая в большом социальном мире, выключена и не работает. И это плюс.

**Андрей:** Я бы сказал, что не столько даже пространство внесословное, поскольку сословное пространство внечиновное. Если вспомнить роль чинов в русском обществе, то университет воспринимается, как пространство, где чин не имеет значения. И вот это подчеркивание, например, того, что немецкий профессор является тайным советником, вот этот момент, когда… Да, российские профессора имеют соответствующее место в табели о рангах, но оно никогда или практически никогда не оговаривается. Я сейчас не вспомню, о ком конкретно идет речь, но совершенно недавно пытался на воспоминания, относящиеся к концу, по-моему, пятидесятых годов девятнадцатого века, когда об одном из профессоров как раз подчеркивалось, что он никогда не забывал о своем чине. Из профессоров московского университета. Это воспринимается, как черта комичная, даже не столько, как черта негативная, это очень забавно. Без всего прочего. И этот момент нормирования и наличия массы правил в университете хорошо демонстрируется в статьях Колягина, когда он отправляется к университетскому вопросу, когда он с удивлением обнаруживает, описывая (43.25) немецкого университета, изучает из устав, изучает их внутренний распорядок, он с удивлением обнаруживает, какое количество внутренних правил есть в этих университетах. Это для него, конечно, контрастирует с реалиями московского университета. Тут, конечно, примешивается еще и обида на то, что новый устав принимается слишком быстро, без достаточного изучения опыта, без проработки всей этой сложной и сложно выстроенной системы. Российские университеты оказываются таким оазисом, особенно в ситуации тридцатых – сороковых годов, оазисом не то, чтобы внесословности, но некоторой приближенности к несословности, пространством, изъятом из служебных отношений, пространством, где выстраиваются такие виды неформальных отношений, которые нигде в другом месте невозможны. Отсюда же особенности кружков, которые формируются в этот период. Кружок, который объединяет людей, которые в другой среде, в принципе, не могли бы пересечься, даже практически не имели бы шансов пересечься. Что самое главное, у них есть общее пространство, где они равны. То отношение, в котором они оказываются все одинаково членами университета, все одинаково студентами. И в более широком смысле это пространство несословности включает не только студентов, но и профессоров, что опять характерно при (45.15) христоматийный, мемуарный образ Грановского, где подчеркивается простота общения, где подчеркивается, что он общался со студентами, не важно, кто этот студент. Именно активно практикую правила, которые действуют только в этом мире, правила, где действуют свои собственные законы. Просто можно вспомнить университетскую автономию, которая предполагала, в том числе, и (45.45) полиции, где само вторжение полиции на территорию университета будет восприниматься, как событие неординарное.

Если вспоминать большие имена, получается, что университет был той самой идеальной, идеализированной, хабермасовской паблик (…), а вовсе даже не гражданским обществом по Гегелю. Скорее, ближе уже к государству по гегелевской философии права. То есть, (…), которая образует фактически те способы общения, коммуникации, которые являются некоторой идеальной социальностью.

**Андрей:** Я бы сказал, что самое интересное, что вот эти способы общения вырабатываются фактически на небольшую часть университетского пространства. В первую очередь, на историко-филологическом факультете. Если вспомнить, что историко-филологическое отделение, оно по-разному называлось в разные этапы русской университетской истории, но если говорить о нем, то там традиционно обучается незначительная часть студентов. Но это пространство оказывается втягивающим в себя другие.

… символический способ самообозначения для всех остальных. В этом смысле, мне кажется, есть один парадокс, который я хотел бы немного развить, сделать шаг в сторону. Я просто был на одной из регулярно приводящихся в Питере конференций с участием цвета словистики, собирается раз в несколько лет американцы, российской посвящая свои каждый раз в новой конференции ту или иную тему. Обычно из позднеимперской истории. Конференция из девяностых годов была самой скучной, блеклой и мало интересной конференция, посвященная, как ни странно, образованию в университетах. Я тогда задумался, и в разговоре с Александровым он со смехом ну почему так? Я ее ждал, пришел, и там снова все те же разговоры про интеллигенцию, про уставы университета. Мне кажется, эта заезженность и сложность разговора о самих себе, точнее, каждый раз разговор про университеты девятнадцатого – начала двадцатого века оказывается самопроекцией каких-то представлений самих историков или специалистов, говорящих об университете. И это в каком-то смысле делает все разговоры об университете, быть может, и наши в том числе, каким-то несвободным от возможности заехать уже в ранее проложенную колею, пересыпанную большим количеством штампов. В том смысле, что рабочим классом или крестьянством, или кем-то другим заниматься интереснее. Это уже социальная история, накоплен большой опыт, сюда присоединяется антропология и так далее. А академическая жизнь в каком-то смысле кажется менее интересной, менее значимой. Отчасти в силу того, что разговаривать о себе, разговаривать о себе подобных или отождествлять, отождествляться с профессурой, студентами, говорящими о девятнадцатом, начале двадцатого века, довольно сложно. На этот парадокс, на эти ловушки такого (49.30), который у нас тянется неизбежно в разговоре об университете, интеллигенции и так далее. И в этом смысле социальный разворот, такая (…), я бы сказал, подозрительность в этом смысле полезна, как возможный антидот от вот этих слишком прямых состыковок. Или, грубо говоря, против той, скорее, кадетской историографии университета, которая у нас господствует до сих пор, имея в виду очень хороших, качественных исследователей, уважаемых специалистов, которые создали историография университета рубежа девятнадцатого – двадцатого веков, с которыми мы имеем дело. И она в этом смысле, конечно, кадетская.

**Андрей:** Да, у нас получается кадетская историография, определенная на героев и злодеев в классическом варианте. Но можно сказать, что первый вариант такой историографии ее представил (50.35) Евгений Михайлович в своем биографическом этюде о Магнитском, пятьдесят восьмого или пятьдесят девятого года в «Русском вестнике», где роли распределены, где университет выступает как раз как пространство свободы, пространство, можно сказать, реализованного либерального мира. Соответственно, из вне приходящая угроза. То есть, в этом смысле фактически источник угрозы всегда располагается из вне, внутри могут находиться коллаборационисты, внутри могут находиться агенты противника, но принципиально само университетское пространство относится, как либеральное, как пространство, которое самостоятельно приходит к должным нормам, что очень важно. И, собственно, здесь импульс к автономии, где автономия оправдывается, как то, что если данное пространство будет автономизировано, то оно автоматически создаст должный порядок. В конечном счете, источником воздействия здесь мыслится во вне. Соответственно, можно сказать, что это такой идеальный эго текст. Поэтому когда мы начинаем переописывать университетскую историю, которая в любом случае до некоторой степени эго историей, то, что мы осуществляем, либо мы осуществляем некое отстранение, либо мы осуществляем психологическое толкование. Причем, странным таким первичным жестом, когда в каждой ситуации должен быть психоаналитик и его клиент, даже если это будущий психоаналитик, он должен пройти психоанализ, но момент рождения психоанализа это самоанализ. Вот университетская история оказывается в такой двойном статусе. Либо в статусе некоего наивного эго текста, либо в статусе осуществляемого самоанализа. Поскольку описание принципиально из вне здесь (…). Университет оказывается далее историографией воплощением до должного устройства идеальной реальности, тем образом порядка, который наступает при отсутствии коллективного личного воздействия. Пространство должного, пространство, где выстраивается иерархия. Эта иерархия неестественного происхождения, где существуют авторитеты, но эти авторитеты опять же устанавливаются естественным образом и регулярно самоподтверждаются, проходят процедуры, которые вынуждают их показывать свою доброкачественность, свою добросовестность. То есть, своего рода это реализованная утопия, которая не осуществляется, срывается раз за разом за счет внешнего воздействия. Это своего рода пример того, как возможно либеральное устройство реальности, как возможен либеральный проект, данный воочию.

**Ирина Чечель:** Я сейчас выступлю в качестве станционного смотрителя, некоторого даже не модератора, который отдает и принимает то, что ему не принадлежит, но, тем не менее. Как может мыслиться либеральный мир, который не имеет фактически политического статуса? Вы начинали с модели университета, как определенной заявки государственной на формирование лояльности, но не закончили тем, что фактически тот самый университет, который является либеральным миром, не имеющим политического выхлопа, создает политический статус интеллигенции. Мне хотелось бы, чтобы вы чуть-чуть поговорили относительно этого момента.

Университет расширялся, в том числе, количественно, менялась его социальная среда. Как раз в силу большего включения третьего элемента, городских сословий, соответственно, демократизировался, менялся облик студенческой публики, которая потом уже со временем становилась профессорами. Прежние базовые социальные составляющие университетской жизни, культуры меняются и даже начинают в каком-то смысле переворачиваться именно в этом очень важном лавилийском изводе. Что я имею в виду. Мне глаза на это (55.50) открыл отрывок из письма, где молодой студент и наблюдатель Александр Пресняков, будущий замечательный историк, описывает матери круг, в который он вхож в университете Платонова и (…), соответственно, как и почему они разнятся между собой. И тут как раз происходит самое любопытное. Он говорит о том, что (Влад Могилевский?) выходец из дворян, с домашним воспитанием, с французским языком в семье и так далее. И он воплощение уже такого дворянского представления о собственном статусе, о государстве, которое является инструментом или чем-то что ему должно. Это критическое отношение будущего кадетства, а еще девяностые годы, ни о каком выходе на политическую сцену не идет, но некоторая такая фронтовая оппозиционность у него заложена уже дворянской культурой. С другой стороны, Платонов, который выходец, чуть ли не внук крепостных и так далее, оказывается, благодарен университету и государственной системе, которая его социальным лифтов вознесла наверх, и вокруг Платонова сплачиваются будущие октябристы (57.05) в политической среде как раз люди лояльные. То есть, люди снизу, наоборот, оказываются вопреки черно-белой социальной логики, где элита должна быть лояльна к государству, а низы чего-то хотеть, вот в случае университетских, культурно-профессорских, преподавательских субкультур такая привычная схема переворачивается. Пресняков как раз это очень хорошо показывает. И они друг друга не могут понять. Он пытается их сводить, за одним столом, они даже ходят на одни научные заседания, но ничего не получается, потому что разнится некоторый социально-культурный стиль, который на выходе дает разные политические вкусы и привычки, которые, в свою очередь, еще обрастают и нагружаются академическими расхождениями о том, как нам толковать смутное время или политику Александра Первого в первой и второй половине его царствования и так далее. Это очень хорошая иллюстрация того, как социальные миры вот эти работают в этом пространстве университета, давая иногда странный поворот этой лояльности, нарушая привычную логику. Если можно тогда продолжить, двигаясь по этой логике, лояльность или нелояльность, уже девятьсот пятый год, когда это все начало выходить на поверхность, ключевой пункт разговора даже не академический союз, а то, что положило его начало. (58.40) и формирование (…), с одной стороны, социальный протест, который в начале лоялен с выхода демонстраций царю и вся эта зубатовская история, у академиков, у образованного сословия другие требования, другой круг притязаний к государству. И здесь даже уже речь не об университете, сколько об академии в широком смысле, о характерной и замечательной реакции президента Академии наук, великого князя Константина Константиновича, который получил записку, кажется, это было уже после девятого января (59.25), он отвечает письмом, что если вы такие умные и недовольные, то извольте сложить полномочия и перестаньте получать зарплату от той власти, которая вам не нравится. То есть, буквально. Но это было воспринято и самими академиками, которыми было написано коллективное резкое демонстрацию и самим Константином Константиновичем, который потом через несколько дней или неделю взял свои слова назад, как (…), как слишком импульсивный (…), но именно в таких точках разрыва вот эти вещи, связанные с лояльностью, из чьих рук кормитесь, идея государства, как стержня вообще всей просветительно-образовательной системы, которая только дает университету вот этим либералам, в университете засевшим, возможность как-то социально существовать, оно очень обнажает. И мне кажется, что как раз вот такие точки разрыва с последующим замазыванием этого разрыва со стороны и власти в данном случае, президента Академии великого князя, основными академиками, в первую очередь, будущими кадетами, это тоже очень характерно. Если вы военные, то чего же вы из наших рук кормитесь, то он хорошо иллюстрирует, этот момент, заложенный в этой картине обратно на зеркало, когда люди, попадающие в университет, как бы выключаются из большого социального мира и спускаются (…) лояльности, образуют некоторую другую лояльность уже внутри своей малой культурной, малой социальной среды, оно хорошо показывается сложные моменты этой динамики.

**Ирина Чечель:** Так вот какую лояльность все-таки? Это абсолютная лояльность? Это способность защищать все, что требует защищать власть? Как вы описываете эту лояльность?

Я бы сказал здесь про потерю, может быть, не (61.35), скорее, это рамочная лояльность. То есть, она потом снова всплывет на поверхность, когда в России станет рождаться политическое пространство, начнутся выборы в первую думу, поляризация партии. И одним из проектов, обсуждавшимся, по крайней мере, в печати и в правительственных кругах, это был вопрос о запрете для царских служащих, включая профессоров и преподавателей гимназии, участвовать в деятельности оппозиционно-политических партий. То есть, грубо говоря, кадеты были бы, не говоря уже о более левых партиях, тем самым были бы лишены социальной базы. Или приведение этой меры в очень сильной степени затруднило бы им любую нормальную политическую деятельность. Но эти проекты остались только проектами. Но характерно, что они были. Это был такой момент рождения политического. А затем кадетская партия и другие, еще более радикальные партии, в которых тоже участвовали люди из университета, в особенности тут не о профессорах даже речь, а о младшем преподавательском составе, (…) о которых тоже надо обязательно упомянуть, то есть, здесь была такая идея, что да, вы в целом можете быть лояльными к базовым рамкам существующей системы, можете как-то (…) оппозиционность и, по крайней мере, участвовать в деятельности оппозиционно-политических партий. И это касается и университета, и вообще, всей системы государственной службы.

**Андрей:** Я бы выделил еще один момент, что как раз в период после 1905 года начинает у значительной части профессорского сообщества подчеркиваться сам характер службы. То есть, что это государственная служба, что это чиновнический статус. То, что в ситуации, например, шестидесятых-семидесятых годов девятнадцатого века практически отсутствует. Именно это можно встретить в двадцатые – тридцатые годы девятнадцатого века. И это все начинает чаще и чаще проговариваться с восьмидесятых годов, как раз когда меняется социальный состав, когда профессура все в большей степени это выходцы из низших групп. То есть, для них их статус это резкое повышение своего социального положения. Тот же самый пример с Платоновым, можно вспомнить Богословского, можно вспомнить Любарского, целый ряд других, для которых это вписывается в логику именно службы, где подчёркивается статус лояльности существующему режиму, существующему порядку. Эта ситуация очень хорошо обнажится в 1911 году при московском университете, когда для кого-то речь будет идти о том, чтобы, при сохранении этой самой рамочной лояльности, мы как университетское сообщество должны следовать своим нормам. Для других ключевым тезисом станет характер службы, характер нахождения на государственной службе, исполнение своих должностных обязанностей, и, соответственно, лояльность к существующему порядку. Необходимость сохранить учреждение. Такова логика именно службы в рамках норм и существующего политического режима, и существующих отношений по службе.

Кроме того, появляются ведь после пятого года важные коллективные ниши. Я имею в виду систему негосударственного высшего образования, высшие женские курсы, на которых зарабатывали иногда деньги сопоставимые с… то есть, это не давало статуса, но давало занятие наукой, в общем-то, сопоставимой с университетом. И главное, (65.55) для тех же молодых (…), которых университеты фактически не кормили, а давали, как сейчас бы сказали, корочки, этих ниш не было в девятнадцатом веке. Люди, которые по разным причинам из университетов должны были уходить, Максим Ковалевский, то есть, они в этом смысле должны были или мигрировать, или уходить в печать, то есть, фактически в никуда. Московские профессора и доценты могли себе позволить коллективный выход, потому что они уже были в той системе. Не говоря уже о поддержке московским обществом, (…), Московского еженедельника даже, в целом, вполне лояльным власти. То есть, была уже разработана система ниш внутри академического пространства, которая уже была негосударственной.

**Андрей:** Я бы пример Шанявского использовал быв качестве примера того, что по большому счету ничего не оказалось. Потому что если вспомнить историю университета Шанявского, то те, кто ушли туда, для них университетская карьера закончилась, для них закончилась академическая карьера. По крайней мере, закончилась до эмигрантского начала своеобразного. Или возвращение университета после революции в семнадцатом году. То есть, для них окажется, что способ продолжения их деятельности будет как раз та же самая печать во многом. Хрестоматийный пример будет (67.35), который уйдет. Да ,формально он уйдет в университет Шанявского, но дальше речь будет идти о том, что заниматься работой в университете Шанявского совершенно невозможно. И пространством его деятельности станет та же самая журналистика.

Тут тоже надо обратить внимание на то, что здесь нарушаются и при более близком рассмотрении не работают стереотипы, связанные с деятельностью тех же либералов или статусом кадетов и профессорской партии. Или если мы будем брать отдельные, но важные, значимые фигуры, это в данном случае (…), которые были, скорее, пасынками университета, которые, на самом-то деле, профессорами не были. И в этом смысле Легков профессорствовал несколько месяцев в середине девяностых годов. И он не смог по разным причинам встроиться в эту довольно узкую сеть университетского пространства в восемьсот девяностом году. И в этом смысле другие важные политические люди, значимые для, в том числе, академического пространства, то есть, (68.55), русской мысли в девятьсот десятые годы был значим и для университетской среды в целом, но частью университета они не были. То есть, в этом смысле некоторая дистанцированность от прямой политической деятельности или от профессиональной политики, или от профессиональной журналистики и идеологической работы и университетской жизни, они все-таки была. Но это соответствует усложнению социальной жизни, оптимизации политической и так далее. Меняется уже после девятьсот седьмого года студенчество и студенческая субкультура. То, что отмечаются (69.40). В этом смысле вот эти недолгие годы между концом революции и началом мировой войны это процесс формирования уже, в том числе, благодаря новой высшей школе, уже нового студенчества, которое появляется, сохраняет вот эту радикальную рамку политического протеста, гораздо более острого антилоялизма, неприятия государства, чем профессоров. Но все-таки то, что описывается современниками, далее потом и Федором (…), уехавшим в эмиграцию, рождается новый тип и класс студентов, который социально продолжает быть разночинцем-бедняком, который через образование ищет свой статус. Но это уже несколько иная среда, которая сильно отличается от студенческой среды, скажем, четвертого – пятого годов, что потом подтвердится уже в революционных событиях семнадцатого года. То есть, насколько студенты были важны и значимы для пятого года, настолько в семнадцатом году они далеко не первый, далеко не главный игрок на этой сцене. Потому что количество выросло, по-прежнему все делается в городах и столицах, но студенчество уже уходит в другую сторону. Благодаря войне оно занимается социальной жизнью, а не политическим (…).

**Андрей:** Я думаю, тот момент, который остался очень слабо проговоренным, на котором стоит сосредоточиться, это само взаимодействие профессорского и студенческого сообщества. Сама историческая динамика студенческого сообщества, потому что у нас сейчас, если я правильно понимаю, если мои ощущению совпадают с уважаемым коллегой, у нас получилось эпизодическое обращение. То есть, студенчество оказывалось время от времени всплывающей реальностью. Причем, то, как оно модифицировалось, и что определяло его функционирование, что определяло его взаимодействие с тем же самым профессорским корпусом в широком смысле, это осталось во многом за рамками разговора. Что формировало протестные настроения в студенчестве в шестидесятых годах, например, или как строилось университетское профессорское пространство в восьмидесятые годы. Тот же самый феномен (72.30), который возникает в восьмидесятые годы. А до этого времени, хотя эти персонажи находятся вне университетского пространства. То есть, они впервые становятся заметными лицами, заметными персонажами вне университетского мира. Вот это очень сложная связка, где студент в образах от шестидесятых до десятых годов оказывается лицом протеста, о чем уже упомянуто, когда он перестал быть лицом протеста, когда он перестал быть значимой фигурой в ситуации семнадцатого года, вот о том, как формировалось это лицо, мне кажется, это заслуживает отдельного разговора.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ

**Андрей Тесля:** В прошлый раз мы остановились на феномене деполитизации, о том, что политика, промежуток между 1907 – 1908 по 1914 год уходит из университетских пространств, или, если говорить корректнее, сильно снижает свое присутствие в студенческой среде, студенты перестают быть такой активной политической массой. Это очень заметно в ситуации семнадцатого года, когда среди присутствующих лиц мы называем кого угодно, но студентов, как выделенной группы не то, чтобы нет совсем, но они явно не лицо революции. Если, скорее, разрозненные студенты, но не студенчество, как действующая группа. Вот в связи с этим я бы хотел сразу задать вопрос, когда мы говорим о студенчестве этого периода, в социальном смысле студенты это кто, и насколько меняется облик студенчества по сравнению с последним десятилетием девятнадцатого века, насколько меняется сообщество студентов, и насколько меняется студенчество, как категория, которая (01.30). Потому что мы разделяем два понятия. С одной стороны, когда мы говорим о студенчестве, как о юридическом статусе, быть студентом императорского университета, и другое дело, когда мы говорим о студенчестве, как о социальной группе, которая осознает себя и которая способна, если пользоваться языком начала двадцатого века, мы можем говорить о том, что он вполне студент или не вполне студент. Мы можем говорить о человеке, который юридическим принадлежит к студентам, но при этом характеризовать его, как студента, не демонстрирующего признаков положенных студентам. Вот если говорить о том, что меняется, меняется здесь группа, или меняется здесь сама юридическая, сама та категория, которая вычленяема через юридические критерии. Меняется тип поведения, который предписан надлежащему студенту, или меняется совокупность тех, кто имеет права студентов российской империи.

Я бы сказал так, что расширяется социальный состав, с одной стороны, если брать момент с девятнадцатого века, та самая перепись 1897 года, например, с одной стороны, и переброситься через двадцать лет в семнадцатый, то видно, что количественно эта группа, с одной стороны, резко разрастается за счет выходцев снизу, но при этом показательно меняются ее, скорее, социальные, чем политические предпочтения. И в этом смысле политика уходит из ядра жизни и настроений студенческой массы. То есть, она становится более ориентирована на профессиональные задачи, на карьерные достижения, оставаясь прогресссистской, насколько можно судить, например, по студенческой прессе 1910-х годов. Она все же теряет вот это радикальный статус, о котором шла речь раньше, как о характерном именно для студенческой среды. Хотя здесь тоже были свои переломы. И самым известным был девятьсот одиннадцатый год, но, скорее, не столько (04.15), сколько было много, начиная с начала века, сколько исходом московской профессуры, (…) называть расколом московского университета, уходом таких замечательных людей, как (…) с ректором (…) университета, который брал себя трудные пути. Но что тоже очень важно подчеркнуть после пятого года, когда (…) появляется прослойка негосударственной высшей школы, в частности, появляется (…) в виде университета Шанявского, конечно, института или других подразделений, которые уже не связаны с университетом в принципе. Можно даже сказать, что императорские университеты начинают переставать быть главным ядром студенческой массы, студенческой культуры. Она разливается, идет парадоксальный процесс, демократизация и политизация идут рука об руку.

**Ирина Чечель:** Вопрос к вам обоим. Студенческая масса, предположим, деполитизируется. А что же происходит в профессорской массе? Почему она резко политизируется? Это же одно пространство, один университетский мир.

**Андрей Тесля:** Я бы не согласился, что оно здесь резко политизируется. Но это не мой профильный период, поэтому возможно, уважаемый коллега скажет, что все совершенно не так, может быть, с точностью до наоборот. Но если говорить о периоде восьмого – четырнадцатого годов, то это ведь очень сильное разочарование в политике. Разочарование в тех установках, в тех привычных формулах, которые достаточно устойчивы были на протяжении с конца восьмидесятых – начала девяностых годов вплоть до периода 1902-1903 года. Когда оказалось, что само расширение, выход данный политическому, возникновение вообще политической сферы в российском обществе, он не является ни спасительным, не дает простых решений, оказалось, что размежевание внутри, для которых до этого момента объединяющим выступало требование возникновения этого политического пространства, вот когда оно возникло, когда до некоторой степени первоочередная задача возможности обозначательной позиции, возможности ограниченного, но политического действия, когда эти возможности возникли, то сама прежняя среда, которая до этого времени обладала консенсусом по отношению к вопросу о необходимости данных прав, о необходимости доступа, здесь внутри нее начинаются размежевания, идущие очень быстро. Но самое главное это то, что помимо всех этих размежеваний отношение к политике довольно быстро меняется на два варианта. Один это до некоторой степени техническое и прагматистское отношение, когда речь идет о достижении вполне определенных целей, вполне определенных зада. И второй вариант это как раз вторая деполитизация, когда речь идет о стремлении отодвинуть политическое, уйти вообще из этой сферы. То есть, если для восьмидесятых годов, для девяностых годов подобная позиция, как правило, является позицией соглашательской, то есть, позицией принятия существующего порядка вещей, то в ситуации после революции 1905 года это во многом дистанцирование одновременно и от охранительного лагеря и от лагеря консервативного, лагеря правительственного, и одновременно от лагеря оппозиционного. То есть, здесь речь идет о том, что выстраивается принципиально аполитическая сфера. Можно вспомнить аналогичные процессы, например, в русской журналистике или в русском искусстве этого периода.

Тут можно вспомнить категорию, вокруг которой было сломано столько копий. С одной стороны, в конце пятнадцатого века, даже при Александре Третьем, а, с другой стороны, как раз вот этот мирный период между седьмым и четырнадцатым годом, а именно спокойно созидательная работа, то есть, мирно созидательная работа. И, с одной стороны, мало кто, кроме радикальных (09.40), может быть, (…) и эсеров и социал-демократов подвергает сомнению саму эту категорию. Но с другой стороны, вся полемика вокруг (вех?), включая тех, кто защищал интеллигенцию, (…) и другие, поскольку сам этот сборник породил довольно большое количество разного рода (…) активности, как раз строилось на дискуссии вокруг это самой категории. А что именно туда вкладывать. В этом смысле действительно схожий процесс с (10.15) студенчества, о котором сказали в самом начале. Он повторялся на другом уровне, на другом этаже, более верхнем академическом этаже, уже с профессурой, тоже были разные течения, хотя общий либеральный трэнд на условное сотрудничество с министерством сохранялся. И здесь можно отметить некоторый парадокс, потому что в России за двадцать три года николаевского царствования сменилось несколько десятков министров народного просвещения. И каждый из них на каком-то коротком этапе воплощал определенный угол или поворот возможной политики, тактически в то же время проводя линию некоторую, всегда прикрывая сверху и председателя комитета или совета министров, или самим Николаем. И в этом смысле давал нам широкий спектр от весьма либеральных (11.25) Толстого до наиболее консервативных, последний министр, который буквально просидел полтора месяца в феврале семнадцатого года, (…). И здесь любопытный парадокс в том, что из этих разных министров народного просвещения николаевского царствования характеристикой наиболее реакционных, одиозных пользовались как раз те, кто сами принадлежали к профессорскому лагерю. Вроде пресловутого (…), которого мы уже упомянули. И он как раз просидел довольно долго, Накануне четырнадцатого года он попал в фактически плен, был травмирован летом четырнадцатого, когда разгорелась война. Это ускорило его быстрый конец. И наоборот, как раз Толстой или Игнатьев, не принадлежавшие к профессорскому кругу, так получилось, либеральная часть (12.35), причем, довольно родовитой, с корнями, с прошлым, с семейным бэкграундом и статусом, они оказывались для условно либерального большинства профессуры неприемлемыми. И здесь парадокс в том, что чем ближе назначенец был из лагеря самого профессорского сообщества, тем более (13.00) консервативную политику он проводил. Отчасти потому, что знал довольно хорошо разные настроения внутренние и всегда чистую политику самой либеральной профессуры. И в этом смысле переносивший на управление вверенного ему ведомства стереотипы губительного столкновения внутри самих университетских советов и, самое главное, ни в грош не ставивший так называемое общественное мнение или мнение профессуры. В этом смысле как раз либеральный чиновник из вне оказывался более осторожным, даже более гибким в смысле политики, чем сам (13.45) начала двадцатого века, который был гораздо меньше готов считаться и ориентироваться на то, что скажут либеральные (…), но это уже если цитировать черносотенную прессу того времени.

**Андрей Тесля:** У чиновника из вне было одно очень важно преимущество или недостаток. Перед его взглядом существовал университет, профессорское сообщество, существовал образ целого, Причем, этот образ имел достаточно привлекательное наполнение. Соответственно, он работал с чем-то внешним. В то время, если вспомнить уже упомянутого (…) или вспомнить, например, его зама Каубе, который точно так же приходит из университетской среды, его доцентство в петербургском университете, я, правда, сейчас не помню, он избрался на профессорскую должность или нет, но не важно, для них это пространство сложно устроенное и явно не однозначное помимо всего прочего. То есть, на взгляд из вне нет того самого университета. Ведь традиционный аргумент защитников университета, защитников либерального этого пространства состоит в том, что существует университет, как целое, существует университетское автономное пространство, существует то, что надлежит защищать. Если для одной стороны существует образ университета, как некоего целого, образ университетской автономии, которая апеллирует образ самоуправляемого сообщества, то для находящегося внутри, во-первых, университет это пространство, которое очень быстро меняется, которое всячески перестраивается, которое находится постоянно под воздействием как внутренних перестроек, так и бесконечно меняющейся правительственной политики. И соответственно, апелляция к некоей университетской традиции, апелляция к российскому университету, как целому, которое существует, как автономное пространство, она для человека, находящегося внутри, неубедительна. Это своего рода экспортный товар, который можно, разумеется, предъявить постороннему, но на который не получится убедительно ссылаться для того, кто находится во вне. И логично, что как раз те министры народного просвещения, которые оказались выходцами из университетской среды, как правило, для самой университетской среды кажутся неблагоприятными. Поскольку для них эта позиция, предъявленная во вне, она была заведомо сконструирована. Более того, было понятно, как это сделано, был понятен адресат, была понятна механика. И отсюда же вот это обращение с университетом, обращение с профессорским сословием, как не с неким целым, а с набором элементов, который достаточно разнороден и который можно перестраивать. Классикой жанра станет…

То есть, это было в том числе, и пространство для разного рода манипуляций, дирижизма, переназначения профессоров, назначения слишком оппозиционных, например, из Петербурга в Харьков и так далее. Тут можно еще сказать, что и сама профессорская среда была неоднородна, тоже менялась. И если у нас в нашей отечественной историографии, в том числе, в этом смысле облик дореволюционной профессуры был и тоже единым и отмеченным либеральными чертами, особенно уже в семидесятых, восьмидесятые годы. Это уже видно в трудах замечательного Анатолия Евгеньевича Иванова. Там опять в этом смысле даже позднесоветская историография дореволюционного университета была, условно говоря, про кадетство. Хотя с некоторыми необходимыми ритуальными оговорками, но, в общем, разделявшей вот этот этнос. В то время, как наблюдатель (18.35), например, (…) тоже автор очень хорошей книжки про российский дореволюционный университет, отмечали, что русская профессура в начале двадцатого века и вплоть до семнадцатого года находилась между правительством и радикальными студентами. И кроме того, еще внутренне фрагментирована.

**Ирина Чечель:** Это очень любопытно. Потому что я все время мучаюсь вопросом, а что же для вас деполитизация. Потому что, возвращаясь к своему вопросу, поскольку мне сейчас необходимо, чтобы вы определились, а что же такое деполитизация, а каким был радикальный студент. С одной стороны. С другой стороны, глупости измены, вот все эти замечательные фразы профессуры в думе – что это? Это отсутствие постановки задач самостоятельных для университетского мира, политических задач, политизация и деполитизация, что это?

В данном случае, здесь речь идет все-таки не о профессорах, а о уже профессиональных политиках, в данном случае, не о Милюкове, ушедшем в политику, говорившим не столько от лица профессоров, сколько…

**Андрей Тесля:** Я бы добавил, что еще очень большую роль играл образ первой думы помимо всего прочего. Поскольку когда речь шла о профессорском образе, это образ первой, отчасти второй думы, но в первую очередь, первой думы, и соответственно, этот образ проецируется на последующие годы, когда найти для него соответствующие основания было достаточно затруднительно. То есть, здесь своего рода (20.20) произошел. Когда первоначальное впечатление оказывается определяющим, и последующий противоречащий ему материал не способен достаточно сильным образом трансформировать в этом смысле картинку.

Четвертая в этом смысле дума, благодаря новому избирательному закону была другой. С одной стороны, более правой, с другой стороны, более профессиональной. В этом смысле представительство разных партий внутри нее, та политика, которая проводилась в думе, действительно была далека от тех скоротечных, революционных профессорских выступлений и столкновений, которые были в шестом – седьмом годах. Поэтому здесь образ той старой думы сохранялся, но уже та политика, которая была в десятом, одиннадцатом, двенадцатом году, отличалась от той политики пятого – седьмого года. Грубо говоря, как верховный совет горбачевского времени от рутины уже середины девяностых. Здесь возможно проводить некоторую аналогию.

**Ирина Чечель:** Тогда деполитизация студенчества, с другой стороны, это отсутствие фигуры вроде Сазонова? Который был (…) тесно с историей с киевскими студентами.

В этом смысле провести с киевскими студентами. Было бы замечательно. Мне кажется, никто этого не сделал. Хотя теоретически для знатоков начала двадцатого века это было бы любопытной задачей, сделать просто (…), то есть, (…) не надо, что с ними всеми случилось потом, в двенадцатом, пятнадцатом и, соответственно, в двадцать пятом году, где оказались эти студенты. Это было бы, между прочим, интересно. Если сделать коллективный портрет вот этого радикального студенчества, мы получим там, я думаю, очень любопытную и непредсказуемую картину. Понятно, что кто-то будет (22.25), а кто-то на каких-то постах в (…), если мы говорим о середине двадцатых годов. Картина была бы любопытной. Даже (…) вот этой перемены, в том числе, и поколенческой. Потому что за эти двадцать три года сменилось, как минимум, два, а то и два с половиной поколения студентов, обновился преподавательский корпус. Есть замечательные недавно изданные мемуары очень хорошего русского преподавателя естествознания, очень хорошего методиста, историка русской биологии околодарвиновской или по дарвиновской Бориса Райкова. Он как раз был одним из первых студентов, который попал под раздачу в начале двадцатого века, он был близок к этому кругу. Хотя он был как раз не политик, а именно студент-радикал. Еще тогда политического движения не было. Потом его круг связей, знакомств, хотя он выходец из сильно обедневшей дворянской семьи, он потом в десятые годы снова возвращается в (23.35) в передовых хороших школах, (…) естествознания, печатается в педагогической прессе и становится в начале десятых годов проректором знаменитого психоневрологического института (23.50) (Бехтеревой?), который по числу студентов, уже почти равнялся с императорским университетом. И уже в должности проректора он, в мемуарах он это очень подробно описывает, сам имеет дело с усмирением студентов. И он как бывший сам (…), имевший у студентов уважаемую репутацию, знал, как и когда договариваться. Там были своим правила поведения, когда он появлялся через час после начала сходки, и сходка сама схлопывалась, нужно было вмешиваться полиции и так далее. Все это тоже было определенным образом отрепетировано, но носило характер такой ритуальной политики, которая, с одной стороны, была преемственна вот этой старой радикальной политике конца девятнадцатого века, с другой стороны, уже имела явно новые черты. Потому что и он сам был представителем своей биографии, представителем вот этого (…) студенческого сообщества, которое вступало в социальную жизнь, начинало делать карьеру в конце девятнадцатого века уже к десятым годам в этом смысле приобрело некоторый социальный вес. И в этом смысле его биография, его мировоззрения за такой сложный, интересный микс старого радикализма, которому он не хочет изменять. Но, с другой стороны, понимание необходимости той самой мирной созидательной работы, о которой мы говорили применительно к )25.15) дискуссиям семнадцаого – четырнадцатого года. То есть, стало понятно, что в этом смысле радикализм нужно реализовать не столько в уличной политике, демонстрации, столкновения с полицией, сколько это уже образ технаря, прогрессивиста, который связан с (…), с негосударственными различными политическими или образовательными инициативами и движения 910-х годов, которому уже тридцать пять, которому уже есть чем рисковать. В частности, действительно, будущие нэповские активисты типа Чаянова, Кондратова начинают в этой среде студенчества (…) молодых (…) в 910-ом году. Один из соавторов и соучастников проекта об империи Илья Герасимов является автором замечательной, к сожалению, пока она только по-английски, книги как раз о русском прогрессивизме 910-х годов, который во многом напоминал немецкие образцы, традиционные для всех сопоставлений русской высшей школы семнадцатого – девятнадцатого века. Как раз (американский?), то есть, (…), движениям, попытка политики, которая одновременно реализует не просто радикальные цели политического устройства, сколько определенно (…) налога, местной политики, аграрного движения и так далее. Это все нарастало в десятые годы, но потом было очень сильная (…).

**Андрей Тесля:** Я бы еще добавил, что в отличие от ситуации до пятого года университет перестает быть тем единственным пространством, где возможна общественная активность. Соответственно, возникает масса других площадок для выхода. Более того, ведь для ситуации 1905 года само сочетание политической и общественной активности традиционно. То есть, зачастую, когда мы говорим о студенческих волнениях, мы вряд ли можем отчетливо развести политическое действие от имеющего другие мотивы. Фактически любое, сколько-нибудь скоординированное совместное действие автоматически оказывается действием политическим, оно маркировано так. В этом смысле, вы бы, что бы ни делали, в любом случае оказывается, что вы уже совершаете политический жест. А раз вы совершаете политический жест и вы это осознаете, то вы, в свою очередь, должны как-то обозначить свою политическую позицию. Дальше мы говорим как раз не о постоянном присутствии в политике, а, можно сказать так, о том, что любое выступление на поверхность общественного (28.25) автоматически оказывается маркировано, как политическое. Причем, маркировано оно так будет независимо от намерений самих участников. Следовательно, для тех, кто действует, маркировать его оказывается необходимо им самим. Потому что они не в силах избежать приписывания и оценки их действия в качестве политического. Следовательно, получается, что здесь такая двойственная ситуация. Можно либо предпринять массу усилий и избрать тактику по неполитическому описанию собственного действия по проговариванию иных мотивов. Либо можно принять данное политическое, либо можно перехватить движение, имеющее какую-то спонтанную организацию, которая имеет совершенно другие цели и задачи. И обозначить ее, как политическое действие. Вот в ситуации 1906 года оказывается возможным действие политическое, как таковое, исчезает вот эта неизбежная связанность. Помимо прочего, я бы сказал еще, что ситуация после 1905 – 1906 года ведь во многом связана как раз с ощущением угрозы. Поскольку события с 1905 по 1907 год для многих оказались восприняты, как хрупкость существующего положения вещей, как ситуация, когда тот статус или та позиция, которую ты занимаешь, те действия, которые ты осуществляешь, они опираются на порядок вещей, а этот порядок вещей продемонстрировал свою неустойчивость. Более того, неустойчивость до некоторой степени как раз затронула тех, кто до этого момента легко включался в студенческое движение. Вот если говорить о расширении социального статуса студенчества, о том, что студенчество все больше растет за счет поднимающихся снизу, так вот, поднимающиеся снизу. В ситуации после 1905 – 1906 года во многом переживает, как было только что сказано… Это возможность самим повысить самим свой социальный статус. То есть, поскольку система социального продвижения, которая до этого времени казалась стабильно существующей и независящей особенно от твоих социальных и политических действий, здесь оказалась до некоторой степени поставлена под угрозу. И это так же снижало мотивацию к активному участию политическому.

Я напомню, что вот в эти самые послереволюционные годы, седьмой – одиннадцатый, это как раз время в общественной среде (32.15), то есть, категория личности начинает активно дебатироваться. И этот дебат о личностном соотносится, координируется с веховской, с антивеховской публицистикой, в том числе. С другой стороны, многими переживается, в том числе, и (…). Вспомним савинковские романы, Петербург Андрея Белого с переживанием темы терроризма, радикализма, оказавшегося не ко двору во вдруг внезапно нормализовавшейся ситуации. То есть, задача революции не выполнена, тут опять можно провести какие-то угодно аналогии. Хоть с 2011 годом, хоть с началом девяностых годов. То есть, вот был бурный всплеск надежды, время массовой политики митингов, история, которая делалась на площадях. И тут вдруг такой резкий спад, вот этот самый переход к мирной созидательной работе отнюдь не для всех был с самого начала благим или предусмотренным всем предыдущим ходом вещей. Это как раз те самые годы, седьмой – десятый, это всплеск подростковых самоубийств, это активно дебатируется, как некоторое безвременье и кризис вот этой старой протестной субкультуры, которая буквально еще с восемьсот семидесятых годов росла и поддерживалась студенческим движением, и так или иначе прикрывалась профессорским. То есть, был у них такой общий (33.50), соединявший и радикалов, и либералов вокруг идей Лаврова, вокруг идей Михайловского, вокруг памяти о народной воли. А вот теперь, после седьмого года, после действительно бурного всплеска уличной политики революций наступает совсем иное время. Время, которое, в том числе, современники или будущие юмористы применяют понятие «время похмелья». Здесь в этом смысле созидательная работа сопровождалась, конечно, и таким еще ощущением того, что нужно пересмотреть ценности. И в этом смысле вехи это, конечно, один из наиболее заметных моментов этого пересмотра. В том числе, даже по самим вехам видно, что, и на это обращают внимание прозорливые исследователи, что там, внутри самих вех, можно (…). Это действительно более памятная, заметная для публицистики 1990-х (…) линии. Другая линия, в первую очередь, с Богданом (…). Это как раз программа социального либерализма, это необходимость утверждения правосознания. В этом смысле Костюковский был человеком, замешенным в радикальную политику начала века и так далее. Но в этом смысле (…) Костюковского, вот уж кого (…), это и необходимость пересмотра империи, и необходимость действовать в рамках вот этого прогрессизма, о котором я говорил немного ранее. Вот этот либеральный прогрессим, оно самым главным упором вот на необходимость воспитания рефлексии как раз проблем правовых, проблем представительства, корпоративного представительства и социальных связей, которые потом перерастают в политические союзы и так далее. То есть, это перевод разговора из плоскости моральных обличений и наоборот, необходимости поддерживать революционный бунт в совсем другой плоскости, которая будет сохранять прежние идеалы, позволял бы по-другому это реализовывать. В том числе, в академической среде. Между прочим, сам Костюковский издает правовой журнал и возрождает («Вестник права»?) в начале десятых годов и работает уже в провинции в ярославском лицее, который (…). Тоже на периферии академической системы. Но как раз тогда периферия выходила и в технологическом институте, и в университете Шанявского (…).

**Андрей Тесля:** Демидовский лицей вряд ли можно совсем уж к периферии отнести, если говорить о юридическом (37.00). Поскольку он как раз был включен в систему привилегированных юридических учебных заведений, где в первую очередь вспоминается училище правоведения, откуда и ярославский лицей, как встроенный в эту систему, достаточно специфический по типу. Но если говорить о движении как раз Кисляковского, то да, оно периферийно по отношению к академическому миру, но та (…), которая как раз пытается построить Кисляковского, когда говорит о необходимости правовой политики, когда говорит о правосознании, о правоприменительной практике, то его акцент на тот же самый ярославский лицей, он (…). Поскольку речь идет о подготовке профессионального юридического состава. Я бы хотел совсем другой момент затронуть, поскольку он всплыл в разговоре. Это сама тематика безвременья. Поскольку если говорить о периоде девяностых – нулевых годов в разных ипостасях, то упорно мы встречаем в этой среде описание своего времени, как некоего пустого времени, ситуация зазора, промежутка. И здесь один момент, на мой взгляд, любопытен, это поколенческий. То есть, то, что выступает в качестве (…), поколения, которое получилось, которое является образцом и моделью для самопостройки, это шестидесятые. Вот некий момент состоятельности. Причем, не важно, какие оценки даются. Они могут быть от восторженных вплоть до отрицательных, в любом случае, речь идет о том, что сам поколенческий опыт состоялся, есть центральное поколенческое событие, есть поколение, как группа, есть критерии вхождения. Соответственно, в дальнейшем мы раз за разом видим, как осуществляется попытка переописания себя в качестве некой поколенческой группы. Очень любопытен роман, как раз выходящий в это время, в эти годы, по-моему, 1908 год, это (…), его роман, где речь идет именно о восьмидесятых, как о периоде безвременья, как неслучившейся несостоятельности. С этим подтекстом. То, что привело к существующему положению вещей, то, что привело к 1905 и последующим годам. Но здесь попытка сконструировать саму вот эту пустоту, что характерно, вообще, для описания восьмидесятых, сконструировать ощущение безвременности, как специфический признак данного поколения, данной эпохи. То есть, когда речь пойдет о уже литературе конца нулевых годов, то будут аналогичные попытки описать девяностые, описать поколение девяностых, описать современное поколение. Причем, что любопытно, что в этих текстах, причем, текстах, достаточно молодых людей, события революции описываются как раз как демонстрация пустоты. Описание неслучившихся событий. И, соответственно, описание поколения, конструирование поколения осуществляется через то, что все участники этого поколения имеют общий опыт вот этого неслучившегося события. Для них для всех одинаково это событие не произошло, не случилось вот это переживание пустоты. Вот этот опыт отсутствие становится консолидирующим, своего рода такое негативное объединение производится. В связи с чем показательно, что, опять же насколько я могу судить по периодике одиннадцатого – двенадцатого годов, пустота фиксируемая влечет за собой переживание необходимости события. То есть, того, что необходимо некое событие, как точка отсчета, необходима некая радикальная перемена, что характерно как раз, когда мы говорим о прогрессистах. Когда речь идет о многих авторах, которые говорят о том же самом мирном, созидательном труде, мирной, созидательной работе. Но, в конечном счете, есть очень важный момент переключения текста, когда необходимость как раз некоего рубежа, перехода, нового начала, иными словами, эти два утверждения не противоречат друг другу. Если мы говорим о том, Что для данной группы характерно утверждение мирного труда или мирной, созидательной работы, это не будет знаком разрыва с революционными ожиданиями. Это два переживания или две позиции, существующие одновременно на разных уровнях. То есть, можно сказать так, это разные режимы осмысления и разные режимы оправдания, присущие зачастую одному и тому же субъекту. Когда режим прогрессистский или режим мирного созидательного труда работает в рамках рационального признания, например, невозможности вот этого принципиального события, которое одновременного выступает в качестве (43.45).

В этом смысле разница между дебатами с мирным, созидательным в восемьсот девяностые годы, во времена либеральных народников так называемых и, соответственно, прогрессистских дебатов как бы о том же самом уже в девятьсот десятые годы. И вот в эти как раз перемены фона, перемене таких не всегда явных, заметных при глубоком, достаточно плотном анализе различий дифференциации, оно, как правило, будет показательно. В этом смысле начавшаяся война тоже во многом мобилизовала и вырвала искусственно на поверхность, то есть, (44.35) прекратила те самые складывающиеся какие-то уже тенденции девятьсот десятых, но и, наоборот, как-то обнажила, сделала их даже чем-то более востребованными. Мне кажется, что здесь (…) историографии либеральной или отдельной, не кадетской, посткадетской (…) университет в начале двадцать первого века у нас в России сложилась благодаря Федору (…) отчасти, (…), нашим историками, занимающимся позднеимперской Россией, какая-то другая, я бы ее, тоже, конечно, огрубляя, в прямой проекции сближения назвал бы октябристской историографией. В частности, тот же Федор (…), занимавшийся много оппозицией пятого и десятого годов, в том числе, и непосредственно периодом первой мировой войны, он довольно любопытно с привлечением анализа большого материала проводит мысль о том, что эта самая оппозиционная интеллигенция была не готова, несостоятельна, то, о чем мы сейчас говорили, но это тоже, конечно, не в прямой проекции с настоящим моментом и, скорее всего, (46.00) самого уважаемого историка, о том, что та интеллигенция все-таки не смогла сформулировать какие-то (…) в десятые годы, в том числе, и в думе, и в экспертных кругах, повестку дня той революции, которую она ожидала. То есть, грубо говоря, раскачивала лодку, не имея созидательной программы, притом, не имея в силу разного рода исходных ограничений. В этом смысле, если опять-таки небольшевистская, постбольшевисткая историография у того же (…), то есть, позднесоветских исследователей, она написана в духе, условно говоря, сочувствия кадетскому движению, в духе упущенного шанса альтернативы, о чем пишут сейчас, то (…) это, скорее, сказал бы интонацией злорадства. (…) здесь не единственный, можно на другую чашу весов положить менее, я бы даже сказал, более системного (…), который как раз пишет тоже об этом третьем элементе и о картине того, когда в рамках этих совещаний по обороне девятьсот десятых годов уже в пятнадцатом – шестнадцатом году довольно близко подошли к тому, чтобы распоряжаться ресурсами, предпринимательскими инициативами. И власти показывают картину, в общем-то, гораздо более сложную. Я бы не сказал, что да, он сознательно окрашивает либеральную оппозицию в черный цвет, но он дает весьма выборочный срез действительно сложной картины. И в этом смысле Герасимов, (…) и другие, если это все собрать вместе, то мы получим картину довольно сложного развития русского образовательного класса в смысле с системным вызовом и кризисом, имея в виду первую мировую войну. И здесь старые либеральные рецепты, и новые прогрессистские, на ходу формирующиеся технологии, (48.15) трудовиков и эсеров, которые не были представлены в университете в смысле профессорского класса, но как раз очень хорошо оказались вот на этом промежуточном доцентском слое, частью которого были и эсеры, (…) продовольствия в семнадцатом году Кондратьев, (…) Сорокин, работавший в том самом психоневрологическом институте итак далее. Люди довольно молодые, еще не очень статусные, (…), будущие (…), они становятся активно востребованными благодаря кризису девятьсот десятых годов и пытаются как-то действовать вот в этой очень сложной ситуации от августа четырнадцатого до поздней осени семнадцатого года. Это тоже заслуживает своего внимания. Не только пристрастного и злорадного (49.05), но, в принципе, это тоже одна из возможных точек зрения, важных, когда мы описываем (…), вот этот самый выбор альтернатив и возможностей, опять же отсылающий к каким-то спорам 1990-х и 2010-х годов. Ну сможете, ну, попробуйте, (…) и так далее.

**Андрей Тесля:** (…) защитил (…) и других авторов данного направления, поскольку, как уже было сказано, преобладающее направление историографии во многом кадетское. И в этом плане для того, чтобы выпрямить, необходимо перегнуть в противоположную сторону. Поскольку мы в любом случае сталкиваемся с преобладанием текстов, которые являются явно, а гораздо чаще не явно, идеологизированными. И мы ведь как реагируем на описание, предлагаемое (50.10)? Это именно потому, что их точка зрения, их явно или неявно проговариваемая, а по существу, явно проговариваемая идеологическая позиция сильно отличается от принятого консенсуса. Вот эта ситуация как раз и делает явной не только ту перспективу, из которой производится новое описание, но и заставляет увидеть новые идеологические предпосылки, неявную идеологическую платформу, на которой существует то, что можно назвать привычной позицией, расхожей. Я бы отнесся гораздо более позитивно к такому рода опытам, как бы они ни были вписаны в споры последнего десятилетия. Позитивно именно с практической точки зрения. Другой момент, который я хотел бы отметить, именно спросить, возвращаясь к студентам. Если говорить о студенчестве, если говорить о молодых доцентах, то по их эго-текстам, какой образ будущего, образ личного будущего присутствует для них в ситуации конца нулевых – начала десятых годов, какова глубина видения этого личного будущего. То есть, насколько промысливается ситуация, насколько стабильными мыслятся рамки своего существования.

Здесь они, я бы сказал, были весьма разными, если мы говорим о ситуации начала века, начала двадцатого века и девятьсот десятых годов, кроме того, что нужно учитывать, что очень часто мы имеем дело с мемуарными текстами, то написанными постфактум, когда поневоле любой из вспоминающих подводит весь ход повествования под будущие пики девятьсот пятого года или девятьсот четырнадцатого – семнадцатого.

**Андрей Тесля:** Преимущественно имея в виду письма. Письма, дневники. Потому что понятно, когда мы говорим с мемуарами, мы больше получаем картину, исходя из того состояния, где находится пишущий.

Точно так же, как и для пишущих дневники или переписку, фиксирующую симптом на себе. В этом смысле тоже важно прошлое, пример восемьсот восьмидесятого – восемьсот девяностого для молодого Преснякова, который пишет матери или жене Александра Преснякова, о котором мы частично говорили в предыдущем разговоре. Это замечательной плотности тексты, по-моему, даже едва ли сопоставимые с чем-то другим. Тексты современника – гуманитария тоже показывают ориентацию на необходимость сохранения вот этого идеала, в данном случае уже идеала не вертикального. Здесь мы имеем дело с некоторой, я бы сказал, тоже субкультурой, которая до пятого года, возможно, действительно позволяла как-то удерживаться в единой студенческой рамке, имея в виду как раз работы Михайловского и Лаврова крайним радикалам, будущим террористам, только-только становящихся эсерами, и людям довольно умеренного статуса. В этом смысле если мы возьмем переписку и дневники Преснякова и дневники, опубликованные после смерти Сазонова, Каляева, то, возможно найдем некоторые важные пересечения. То есть, части того этоса, который уже после пятого – седьмого года распадется, будет что-то другое. То есть, всплеск массовой политики баррикад, расстрелов, столкновений, в том числе, левой и правой политики, (54.20), которые выходят на улицы, массы, которые ведут себя не так, как им прописано в радикальных прописях, начиная с 18960-х годов. Это сформирует, мне кажется, совсем другое мироощущение. Если мы возьмем документы начала века, то здесь будут причудливо соединяться какие-то представления о юридической службе, о занятиях наукой, это если мы говорим об академическом мире. В оценках же политических и идеологических это некоторый такой общий расплывчатый статус неприязни к власти, критики власти, которая, в принципе, на уровне каких-то наоборот конкретных действий или шагов…. То есть, мы можем обратиться к какому-то имяреку, как к товарищу министру народного просвещения, когда речь идет о конкретных комбинациях, назначениях, планах и перспективах, преподавать, например, в Александровском лицее, а не в мужской гимназии итак далее. Это с одной стороны уровень механики. А с другой стороны, на уровне идеологических статусных предпочтений он, конечно ,слуга режима, человек совсем из другого мира, из другого лагеря. И здесь в этом смысле идеальные планы и планы каких-то конкретных жизненных комбинаций пересекаются. Но это часто бывает в интеллектуальной истории 1960-х годов во Франции и не только во Франции, когда вчерашние бунтари какие-то несколько лет спустя или несколько десятилетий спустя начинают занимать посты советников или атташе по культуре и, так или иначе, встраиваются в систему (56.10) они были еще только что и вот еще вчера писали о ней гневные статьи в передовицах, а сегодня вдруг начинают быть хоть и окраинной часть, но часть этой системы. Поэтому двадцатый век в этом смысле даст довольно много картин и характеристик по поводу переключения радикального этоса в этос реформистский. В этом смысле юридическая реформа двадцатого века это тоже реформа, делавшаяся бывшими бунтарями. Если вспомнить 68-ой год, (…), с одной стороны, говоря о той же Франции, бывших маоистах, или в России даже на более коротком промежутке Райкова и Кистяковского, о котором я говорил, радикальных героев-студентов начала двадцатого века и уже десять или пятнадцать лет спустя людей, у которых уже находятся какие-то рычаги власти, которые действуют в рамках (академической?-57.10) реал политик. Если можно, у меня есть некоторая вещь, которая мне хотелось бы сегодня тоже проговорить в наших перекличках и связях времен. Это как раз вопрос о преемственности и о том, что в этой традиции девятисотых – девятисот десятых годов академического радикализма, образа университета, как площадки свободы и так далее осталось для нас, тоже имея в виду широкую временную перспективу, позднесоветскую и постсоветскую. Понятно, что мы имеем дело с некоторым остывшим образом университета, который остается независимо от работ Иванова, Гайде или тех, кто описывает это с очень позитивной стороны, или, наоборот, рисует их, как радикалов, ниспровергателей, расшатывающих скрепы, основы в начале двадцатого века. Но тут любопытна перекличка, потому что наряду с сохраняющимся позитивным образом дореволюционного университета в шестидесятые – семидесятые в позднесоветские годы, удивительно, когда вы говорили, Андрей, про безвременье, мне кажется, это как нельзя лучше передает ситуацию, обстановку и воспоминания людей, выросших в позднесоветском университете шестидесятых – семидесятых – восьмидесятых годов. В чем мой главный пункт, это в том, что позднесоветский университет, вроде бы оглядывающийся, пусть и неявно, на университет начала века, он не предоставил своим гражданам, студентам, доцентам и профессоров уже семидесятых и восьмидесятых годов никакого пространства, сопоставимого хотя бы с восточноевропейскими образцами. В Польше, Чехословакии и так далее. То есть, понятно, что это был университет уже советский, в очень сильной степени зачищенный, много раз переломленный, начиная с двадцатых годов, потом уже в сталинское время. Но показательно, что в этом смысле у нас не осталось… В советской школе шестидесятых – семидесятых годов мы имеем довольно много свидетельств, кинофильмов, романов, споров даже, каких-то дискуссий о том, как, куда двигаться дальше. И в этом смысле университет брежневского или даже послебрежневского времени оказывался вот этой серой зоной, от которой ничего не осталось. Ни фильмов, ни книг. Кто-то может вспомнить кафедру Грековой или, может быть, фильмы Рязанова, но это все не совсем то. Может быть, из уже названных роман Грековой единственный пример советского романа, но в этих играх лояльности, оппозиционности, экспертной миссии или миссии реформистской, как ни странной, и в семидесятые, и в восьмидесятые, а, может быть, это перекидывается на девяностые годы, университет такой площадкой не является. (Попова? – 60.25) в этом играет в конкретной реалии временно уже позднесоветского и советского. И почему здесь вот эта память (…) начала двадцатого века не срабатывает, а остается подвешенной – парадокс.

**Андрей Тесля:** Но ведь возникает память об академических институтах. Если говорить о пространстве и научного поиска, и экспертной миссии и так далее, игры влияния, игры информации, расклады экспертные, то все это окажется в пространстве академии наук. И плюс довольно странные академии общественных наук и тому подобные конституции. Соответственно, университет позднесоветский станет пространством, в первую очередь, обучения. Причем, пространством, как уже было сказано, пустым. Те тексты, которые возникают в этой площадке, это тексты, когда университет представляет какую-то позицию для наблюдения, для выхода в другую среду. В университете ты встречаешься с людьми из академического института, ты узнаешь о существовании спецхрана, ты встречаешься с теми, кто мыслит не так, как в тебе привычном кругу. Но это все происходит в связи с тем, что ты находишься в университете, но университет не является пространством этих встреч. То есть, он создает пространство, границе которого ты можешь столкнуться с другим. Но в этом смысле встреча происходит, когда ты движешься к границам пространства именно вот этого университета.

То есть, и новосибирский академгородок или отдел, который снимал документальный фильм, сериал Александр Архангельский, институт мирового рабочего движения, но в рамках академии наук, это как раз те площадки, где формировалось экспертное знание, альтернативные, пусть и несформулированная таким образом социальная модель, которая будет реализовываться уже в перестройку. То есть, в этом смысле аналогом университетов начала века были, скорее, академические институции семидесятых – восьмидесятых годов, если я правильно понимаю, Андрей, вашу мысль. А университет такой площадкой быть перестал.

**Андрей Тесля:** Университет, еще раз подчеркну, стал той площадкой, находясь на которой, ты можешь приблизиться к другому пространству. То есть, он стал для тебя пространством перехода, но его собственное пространство перестало быть пространством формирования смысла. Оно перестало быть пространством, где совершаются события для тебя. Ты можешь, находясь в этом пространстве, сообщить движение в другую зону. В этом плане у университета позднесоветского, он работает, как ничейная земля до некоторой степени. И, соответственно, как ничейная земля, он позволяет встречаться представителем разных племен или разных соседних деревень. Точно так же и в советском университете. Именно благодаря тому, что сам по себе он является пустым пространством, не занятым, вот эта функция пустого пространства дает возможность совершать самые движения из него. Но сам он оказывается пустым. И описание этого пространства не срастается, здесь не понятно, что описывается. Здесь нет наполненности, за которую может зацепиться описание.

Здесь в этом смысле да, наверное, ситуация как раз характерным образом меняется, потому что порой в две тысячи десятые годы университетская система, имея в виду ее трансформацию, фактически (64.30) переформатированная старая советская система, институций естественных снова вводит университеты в том или ином виду. РГГУ, вышка, целая система, но не МГУ, практически в его нынешнем виде, снова на авансцену каких-то идейных проектов, обсуждений, площадок, взаимодействия. И в этом смысле меняя старую, позднесоветскую систему такой не то, чтобы даже деполитизацией университета, а превращение его в такую искусственную площадку подготовки. В этом смысле, пожалуй, университеты две тысячи десятых годов возвращают себе больше места, пространства формирования разных смыслов и дискуссий. В том числе, не только против реформирования, но и наоборот, поддержания, консервации, улучшения существующего статус кво. В этом смысле все равно становится площадкой академического дебата, (…), хотя бы как-то были в начале двадцатого столетия.

**Андрей Тесля:** Я бы сказал, что это движение начинается с конца восьмидесятых. Если брать гуманитариев, то самое яркое событие это создание кафедры истории мировой культуры, которая, в том числе, привлекает в себя как раз персонажей, до этого связанных с миром академии наук.

Которых просто не пускали к студентам. Это же советская система с институтов, отделенных от академии наук во многом сложилась стихийно и хаотично в начале двадцатых годов. Когда профессора или студенты выходили на забастовки, протестовали против нового советского, очень централизованного, повторявшего худшие черты устава двадцать первого – двадцать второго годов. И в противовес этому стала формироваться при академии наук, изначально при университетах, а потом отданная под крышу академии наук система академических институтов, где будут сидеть пусть и оппозиционные естественники, в первую очередь, или даже гуманитарии, но которые будет работать на задачи страны, обороны, престижа и так далее, а студентов будут учить люди гораздо более лояльные, серые, и будущую смену будут растить в этих институтах, но при этом само студенчество перестанет быть той радикальной массой, которая угрожала существующему порядку. Эта система разделения существовала с начала двадцатых. И как раз кульминацией ее были, пожалуй, шестидесятые, семидесятые, восьмидесятые годы. И вот уже объективно восьмидесятые годы даже с созданием системы (67.25) университетов у нас в двадцать первом веке все это начинает меняться. Институты снова сращиваются с университетами, у нас меняется среда. Она в каком-то смысле становится более подвижной. Когда я спросил у людей, хорошо знающих внутреннюю университетскую французскую среду, задав вопрос о том, почему французский университет в девяностые – двухтысячные годы продолжает продуцировать людей типа Алена Бадью, людей, для которых вот этот радикализм шестьдесят восьмого года, как и для русских профессоров век назад остается очень важным, значимым. И люди, которые уже вполне интегрированы во вполне консенсусные, академический мир, продолжают из себя, грубо говоря, играть вот таких радикалов. На что было сказано, что есть большевистская студенческая культура во Франции, не во всех университетах, но в как раз престижных гуманитарных до сих пор существующая, которая не дает профессорам становиться более либеральными, более статусными и работает, как такой необходимый механизм подогревания температуры в котле, которая и производит Бадью с его нынешними политическими взглядами, продолжая формировать вот эту левую радикальную структуру людей, которые по всем остальным меркам должны вроде бы быть статусными интеллектуалами, частью системы, частью статус кво. И это тоже очень интересное замечание. В том смысле, что студенческая среда, хотя не везде и не всегда, роль подпитки и видоизменения, в том числе, самого класса профессоров. Вернули в (69.20) своей молодости. Тебе говорит двадцатилетний парень или девушка из аудитории и пятидесяти – шестидесятилетний профессор должен как-то отвечать. Так что, это тоже важная часть той системы, которой у нас, можно сказать, еще почти нет. Но если пытаться спроецировать, то, скорее всего, в две тысячи двадцатые годы, будем думать, что все будет более-менее нормально, сохранится. Вероятно, темы и дебаты университета начала двадцатого века или характерной поляризации, они смогут переопределяться и всплывут заново. Мне кажется так.